

МИХАИЛ ВОРОНОВ

АРБУЗОВСКАЯ
КРЕПОСТЬ

Михаил Алексеевич Воронов

Арбузовская крепость

Аннотация

«Колосов переулочек тянется от Грачовки влево; он сплошь набит всевозможными бедняками. С утра до вечера и с вечера до следующего утра не смолкает в нем людской гомон, не смолкает длинная-длинная песня голода, холода и прочих нищенских недугов. Из кабака ли вырывается та песня в виде разухабистого *жги, говори*, сопровождаемая воплями гармоника или визгом скрипки, или просто несется она откуда-нибудь из-под крыши старого, покосившегося деревянного дома, или, наконец, поет ее какой-нибудь оборванец, сидя на тумбе, – всегда она – горький плач, всегда она – нытье погибшей человеческой души...»

Содержание

1	10
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Михаил Воронов

Арбузовская крепость

1

Колосов переулочек тянется от Грачовки влево; он сплошь набит всевозможными бедняками. С утра до вечера и с вечера до следующего утра не смолкает в нем людской гомон, не смолкает длинная-длинная песня голода, холода и прочих нищенских недугов. Из кабака ли вырывается та песня в виде разухабистого *жги, говори*, сопровождаемая воплями гармоника или визгом скрипки, или просто несется она откуда-нибудь из-под крыши старого, покосившегося деревянного дома, или, наконец, поет ее какой-нибудь оборванец, сидя на тумбе, – всегда она – горький плач, всегда она – нитье

¹ Арбузовская крепость. – Впервые опубликовано в журнале «Русское слово», № 2 за 1864 год. Этот рассказ вошел впоследствии в цикл «Московские норы и трущобы», появившийся впервые в составе сборника под тем же названием, выпущенного Вороновым совместно с А. И. Левитовым в 1866 году. Цикл состоял из следующих произведений Воронова: «Сквозь огонь, воду и медные трубы», «Грачовка», «Ад», «Тишина» и «Арбузовская крепость». В них всесторонне были изображены быт и нравы различных московских притонов и ночлежек. Книга Воронова – Левитова имела успех и выдержала подряд два издания (второе издание – в 1869 году). В 1870 году рассказы цикла «Московские норы и трущобы» вошли в сборник произведений Воронова «Болото» (СПб.). В советское время рассказ «Арбузовская крепость» (со значительными сокращениями) переиздавался дважды: под редакцией К. И. Чуковского в сборнике «Шестидесятники, Избранные произведения», ГИХЛ, М. 1933, и в сборнике «Русские очерки», т. 2, Гослитиздат, М. 1956.

погибшей человеческой души.

*Арбузовская крепость*² стоит на самой середине Колосова. Это старый деревянный дом в два этажа, грязный и облупленный снаружи до того, что резко отличается даже от своих собратий, тоже невообразимо грязных и ободранных. К дому справа и слева примыкают два флигеля, которые тянутся далеко в глубину двора; и дом и флигеля разбиты на множество мелких квартир, в которых гомозятся сотни различных бедняков. Впрочем, и в Арбузовской крепости существует известная градация квартир, подобная той, какая существует во всех домах. Так, например, в квартирах дома, окнами на улицу, живут *бедняки побогаче*, по преимуществу женщины, у которых есть все: и красные занавески, и некоторая мебель, и кое-какая одежда, а главное – подобные жильцы постоянно находятся в ближайшем общении с разными кабаками, полпивными и проч., куда сносятся ежедневно скудные гроши, приобретаемые этими несчастными за распродажу собственной жизни... Им завидуют все без исключения арбузовские квартиранты; их называют довольными и счастливыми. Ко второй категории принадлежат жители того же дома, но только частей его, более удаленных от улиц: окна на двор. Тут обитает нищета помельче: из трех дней у нее только два кабацких и один похмельный; на пять, на шесть дней такому жильцу непременно выпадает один голодный.

² *Арбузовская крепость* – то есть дом купца Арбузова. Крепостями назывались купеческие дома, сдаваемые внаем.

Борьба с просыпающейся совестью и упорная битва с подставляющей ногу жизнью сделали из такого существования многоактную драму, в которой, впрочем, сердце зрителя по временам отдыхает от тяжких, раздирающих сцен. Но такие антракты коротки; занавес поднимается и падает то и дело, то и дело появляются на эстраду жалкие актеры; то и дело вырывают они слезы из ваших глаз своим отчаянным воплем. Страшно быть таким актером, но еще страшнее попасть в число действующих лиц третьего рода жильцов *крепости*. Жильцы третьей категории населяют флигеля. Здесь изо дня в день разыгрывается драма, без перерывов, без антрактов. Зрителя не существует: он закрыл глаза, заткнул уши и бежал. «Что это за мерзость! – негодует он. – Ну, покажи что-нибудь страшное, да потом дай отдохнуть – в буфет, что ли, сходить, – а то черт знает что такое: наставил вместо людей зверей каких-то, да и заставляет их ломаться целые годы! И глупо и неестественно!» Действительно, актеры что-то пересаливают. Хотят они изобразить, например, голодного человека, так такую рожу вам покажут, что даже отвратительно! Ну, кто же не знает, что такое голод, *appetitus* тож? Или: бьют они друг друга до крови, *до настоящей крови*, желая тож представить драку! Или ножи эти, кистени, – ну, почему бы не иметь таких вещей из картона, дерева или что-либо подобное?.. Словом, зритель прав, убегая отсюда; тем больше прав, что в жизни существует еще столько приятного, милого, забавного, что не смутит, не разозлит, не вызовет желчь;

тем больше прав, что мед приятнее полыни, и повсеместная водевильная веселость увлекательнее подобной драматической потасовки.

Я поселился в *крепости*, на квартире третьего разряда. Квартира эта состояла из двух комнат, из которых одну занимала сама хозяйка, другая отдавалась внаем. Эта последняя была разделена опять на две части чем-то вроде коридора; каждая часть, в свою очередь, делилась еще на две; следовательно, из комнаты, предназначавшейся для отдачи внаем, выходило четыре покоя, отделенных один от другого неполною перегородкою. Каждый такой покой величиною равнялся конюшенному стойлу, и в подобном стойле нередко помещалось трое, даже четверо. Очень немного, думаю, найдется людей, которые могли бы представить себе общую атмосферу комнаты в три-четыре квадратных сажени, набитой восемью или десятью живыми существами, особенно если принять еще во внимание то, что каждое стойло имело и свою собственную атмосферу.

Я обязался платить за свое помещение рубль семьдесят пять копеек в месяц. Словоохотливая хозяйка долго-долго расхваливала мне мою закуту.

– Кто же живет в соседстве со мною? – спросил я хозяйку после осмотра новой моей квартиры.

– Да разные...

– То есть как же это *разные*?

– Да ты не бойся, батюшка, у нас ничего... У нас этого нет,

чтобы у своих, то есть... ни-ни!.. Хоть груды золота навали – не тронут! Насчет этого смирно.

– О, за это-то я не опасаюсь, потому что у меня и взять нечего.

– Ну, и ладно... А народ живет все хороший. Разумеется, в наших местах где ты его сыщешь, человека, чтобы на отличку, значит: все маленько есть за ним что-то... Но только опять же в фатере он ничего этого.

– То-то, чтоб не слишком беспокоили.

– Нет, беспокойства тебе не будет, потому на леву-то руку девица живет – смиренная такая, пресмиренная, вот ровно ее и нет; опять по праву, там старики у меня пущены, дочь у их, девчонка, да сын – эти тоже ничего. Перва-то старик, признаться, баловал, а теперь, должно, помирать собрался, так потише стал, – и все из его эта слюна бежит, так бежит, что, может, кольки уж ведер ее вытекло!.. Насупротив опять смиренный живет; англичанка у его тоже тихая, словно курица какая: когда ежели бить начнет, так и то она голосу не подаст, все больше в себе придерживает...

Получивши таким образом некоторое понятие о своих соседях, я сунул хозяйке задаток, а чрез два-три часа окончательно перебрался на новую квартиру, благо перетаскивать-то нечего. В первый же день я уже узнал кое-что о своих соквартирантах, а неделю спустя вошел с ними в знакомство, и так как человек в этих местах крайне сообщителен и вообще не способен скрывать от других что-нибудь, то мне

ровно ничего не стоило собрать самые точные сведения об этих людях.

1

Направо, в конуре, помещалось семейство из четырех человек. Pater familias³, ветхий старик, больной, раздражительный и вечно жаждущий водки, постоянно оставался дома; мать, худая, желтая, сгорбленная старушка, целый день бродила где-то, по-видимому бесцельно, и только по вечерам являлась на квартиру; дочь, девочка лет двенадцати, была совершенно предоставлена самой себе и лишь по временам забегала в свое убогое жилище, где постоянно брюзжал на нее полуживой отец; сын, молодой человек двадцати с чем-нибудь лет, редко появлялся в семействе, потому что вечно голодные родители постоянно встречали его бранью и проклятиями, если бедняк не приносил денег. С отцом семейства я познакомился в первый же день.

Дело случилось так.

Вечером, подложив руки под голову, я лежал на кровати. Зажигать свечу было еще рано, да и не нужно, потому что только в потемках и можно оставаться до некоторой степени равнодушным к окружающей гнусности. Далеко где-то гудела шарманка – московская шарманка, выворачивающая вон душу. Вслушиваясь в убогий сап и храп убогой музыки, я мало-помалу переходил из состояния крайнего ожесточения

³ Глава семейства (*лат.*).

в какое-то мирное, тихое, плаксивое состояние. В голове ворхнулись воспоминания о прошлом; одна за другой побежали перед моими глазами тени, когда-то милые моему сердцу; на ресницы навернулись слезы... В потемках хорошо плакать, уверяю вас! Когда я забиваюсь с своим горем в темную комнату, я всегда даю простор накипевшим в груди страданиям. Я забываю тогда, что я мужчина и что, следовательно, мне плакать стыдно; тогда я, откинув в сторону всякую копеечную мудрость и сообразивши всю тяжесть настоящей жизни, всю свою бесхарактерность, всю мелочность и пошлость своей натуры, – тогда я ясно понимаю, какой я величайший дурак, какая я ничтожная гадина! И вот реву, реву и реву; реву до тех пор, пока не облегчится грудь, пока не скатится камень, наваленный на сердце! Нет, хорошо иногда забыть, что ты железный мужчина, и, уподобившись слабонервной женщине, хорошо всплакнуть, – хорошо потому, что больше-то ничего, по своей негодности, сделать не можешь! Ведь наше горе – горе дурацкое! Наши страдания потому только и существуют, что существуют на наших плечах гуттаперчевые шишки вместо голов! потому, что нас можно утешить пряником! потому, что хотя и кричим мы во все горло, да кричим-то поодиночке, без толку! потому, наконец, что руки наши болтаются без дела, что забились мы в какой-то заколдованный круг, да и боимся шагнуть за черту! Тяжело наше горе, потому что плохи мы сами! И долго-долго будет поедать нас это великое зло, если мы сами будем равнодуш-

ны к нему, если мы сами твердо не пожелаем иметь то, без чего мы теперь позорно умираем!

Так, только что я дал простор своей кручине, за стеной, справа, раздался удушающий, болезненный кашель, и затем кто-то слабо проговорил:

– Добрый человек!

Я проглотил слезы и по возможности твердым голосом спросил:

– Что вам нужно?

– Выслушайте бедного, больного старика.

– Говорите.

– С утра маковой росинки во рту не было, войдите в мое горькое положение, помогите голодному челова...

Кашель прервал речь соседа.

– Старик! – крикнул я. – Зайдите ко мне, если можете, у меня есть хлеб, да вот и денег тут, кажется, было несколько копеек.

Я открыл ящик стола и принялся отыскивать там скудные свои гроши. В это время в конуре соседа послышалось усиленное кряхтенье, бедняжка не мог справиться с плохо повиновавшимися ему ногами. Я зажег свечу.

– Ну, что, идете?

– Иду, иду, батюшка, – проговорил старик, медленно выползая из своего стойла. – Ноги-то, треклятые, не слушаются, – прибавил он, выбравшись в коридор.

Я отворил дверь.

– Здравствуйте, соседушка, – слабо пролепетал старик, входя ко мне.

– Здравствуйте. Садитесь.

Старик опустился на стул. На вид ему было лет семьдесят. Лицо морщинистое, как ядро грецкого ореха, утратило всякое выражение. Тусклые глаза бессмысленно выглядывали из-под нависших густых бровей. Бедняк учащенно чавкал губами, по-видимому стараясь как-нибудь удержать ключом бежавшую слюну. Я предложил старику хлеба и попросил хозяйку поставить самовар.

– Дорого ли платите? – спросил меня сосед, окидывая взглядом комнату.

– Рубль семьдесят пять.

– Так, так. Хороша комнатка... И тепло поди? – прибавил он, запихивая в рот куски хлеба.

– Должно быть, тепло, – ответил я. Но старик не слушал моих слов; глаза его вдруг как-то блеснули и забежали из стороны в сторону: он увидел на столе несколько копеек денег.

– Водочки бы, – прошептал бедняк, протягивая руку к деньгам. – На пяточок бы... погреться... давно не пил... славно! – бормотал старик, как ребенок глядя мне в лицо.

– Ведь вам, дедушка, я думаю, вредно пить.

– Нет, ничего, – бойко проговорил он. – Это она вам сказала, что вредно, – она врет, ей-богу врет! Она сама пьяница, подлая!..

– Напротив, мне никто не говорил, но я думаю это, глядя

на вас, – перебил я старика.

– На пяточок только, – скорбно выговорил старик.

– Извольте, если только это не повредит вам.

– Нет, нет! Вот ноги поразомну... Давно очень уж не пил, – вздыхая, добавил бедняк.

Я послал за водкой.

– Как же вы четверо помещаетесь в одной комнате? – спросил я соседа.

– По бедности, батюшка.

– Давно ли вы так живете?

– Девятый год.

– Господи боже мой! – невольно вырвалось у меня. «Девятый год люди изо дня в день умирают голодной смертью», – подумал я. – А прежде вы как жили и чем занимались? – спросил я старика.

– Да так же и прежде жили, только тогда, известно, здоровья-то больше было – сам работал, а теперь только что сын добудет, тем и пробиваемся. А какой он добышник.

– Какая же ваша работа была?

– Разная... какая придется...

– То есть как же это: какая придется.

– Да так же... Известно какая... сами знаете...

Старик замялся. Принесли водку; сосед выпил рюмку и сладострастно зачавкал губами, приговаривая:

– Эх ты, рожон тебе в бок!.. Ишь ведь какое зелье подлое!..
Страсть люблю эту тварь!..

– Где же ваше семейство? – спросил я его.

– А бог их знает. Они ведь меня, старика, не очень почитают, так бросят с утра раннего, вот и валяюсь один, голодаючи.

– Отчего вы не попроситесь в богадельню? Ведь вам пора бы уж, кажется, успокоить себя. Богу бы там молились.

– Ох, батюшка, не могу я! Был я уж и в богадельне – прогнали: очень пить стал.

– Помилуйте, куда вам пить! Вы больны, вам лечиться нужно.

– Болен, батюшка, да – болен... надо лечиться, – бормотал старик, наливая рюмку. – Вы на меня не сердитесь, батюшка, – обратился он ко мне, – не могу, очень уж люблю ее, проклятую!

Он выпил, поцеловал доньшко рюмки и затем бросился обнимать меня. На глазах старика стояли слезы.

– Только вы у меня один добрый, – задыхаясь, лепетал сосед. – Все меня бросили, никому я не нужен, никто не пожалует меня. Так, ровно тряпка какая ненужная, валяюсь без призору. Жена бросила, сын бросил, дочь бросила – все бросили! Но только бог меня не бросил, – оживившись, проговорил старик. – Не-эт, бог не бросил... Бог все не оставляет меня своей милостью. Я много пред ним грешен, много грешен, а он все не оставляет, все не оставляет меня. Он все не оставляет... Он? Бог-от... Не-эт, не оставляет... А они мне не нужны... Они мне не нужны... Жена думает, что я в ней

нуждаюсь... Не-эт, шалишь! Ступай! ты мне не нужна!.. Воруите вы с сыном, сколько вашей душе угодно, пропивайте, сколько вашей душе угодно, а вы мне не нужны... нет, не нужны...

Старик совершенно захмелел; он едва держался на стуле.

– Вы мне не нужны... ступайте ко всем чертям! – бормотал старик. – Вот Сашутку жалко... Сашутку жалко... А должна пропасть, должна пропасть... А жалко, очень жалко, вот как жалко! – Старик ударил себя кулаком по лбу. – Возьми у меня Сашутку, пристрой ее!.. Пристрой!.. Ты добрый человек?.. На!.. возьми ее... сбереги ее мне...

Бедняк как-то бессмысленно поглядел на меня.

– Нет, и тебе не отдам, потому все вы подлецы!.. Я вас всех знаю... я всех знаю... Вот вам что будет за Сашутку! – И старик погрозил кулаком. – Она у меня вот где, вот!.. – Бедняк указал на сердце. – Ни за что не отнимете Сашутку у меня! Ни за что! А пропадет, пропадет, – прибавил он, закрывая лицо руками, – пропадет... мать продаст, как подрастет, продаст, продаст!..

Несчастный откинулся на спинку стула, заскрежетал зубами и потом тяжело захрипел; голова свалилась на сторону, лицо совершенно помертвело, грудь едва колыхалась.

Я перетащил старика на кровать.

– Зачем вы его поили-то? – упрекнула меня хозяйка, входя с самоваром. – Ведь ему один наперсток нужно – вот уж он и пьян.

В этот же вечер я познакомился с женою и дочерью старика. Старушка много рассказывала мне о своем горе, повинилась в пристрастии к водке, которую, как говорила, она пьет поневоле, чтобы залить свою кручину, и долго-долго нашептывала мне о своей печальной участи, выбиться из которой, как она уверяла, нет никакой возможности. Видно было, что человеческая речь, какой я говорил с этими бедняками, сильно действовала на их загрубелые сердца. Участие, с каким я выслушивал грустную исповедь старушки, очень расположило ее ко мне, так что после каких-нибудь тридцати – сорока минут, которые мы провели в беседе, старушка, без всяких вызовов с моей стороны, принялась рассказывать мне свою жизнь.

Передаю то, что сохранила моя память из этого рассказа.

– В Москве мы живем лет двенадцать, – рассказывала старушка, – а прежде в Серпухове жили, так, торговлишкой кое-какой занимались. Старик-от у меня в те поры был трезвый, и вина этого ему на дух не надо, не токма чтобы пьянствовать, как теперь. В Серпухове мы жили, можно сказать, богатеями, потому лавочка у нас своя была да двор постоянный держали; была у нас и корова, и лошадку держали, и все, что по хозяйству вокруг надо, – все было. У меня, бывало, сарафан не сарафан, шаль не шаль, шуба не шуба, – так инда вешалка ломится! И прожили бы мы безбедно до сих пор, если бы не обошел нас в ту пору какой-то бес, прости господи! Вступило вдруг, отец мой, старику-то моему в голо-

ву переехать в Москву: так спит он и видит все Москву да Москву – совсем замотался. Я тоже ровно бы одурела, тоже за ним тяну: «Поедем, мол, что нам тут делать?» И диви бы молоденькие, что ли, были, диви бы капиталу у нас больно уж много было, – ничего такого: так, взбесились на старости лет, да и на-поди! Разом мы все это распродали, разом собрались, и марш. Приезжаем. Спервачка-то у Красных ворот остановились, а сами все приглядываемся да присматриваемся, где бы, мол, торговлишку какую завести – лавочку, что ли, мелочную или кабак снять? Отыскали наконец и лавочку. Сняли. Месяца два торгуем, слава тебе господи! (Тут, на Дербеновке, лавку-то держали.) Только, отец ты мой, одна, как теперь помню, под Егорьев день, ноет этта у меня сердце, так ноет, что и сказать я тебе не могу! Захватит, захватит внутри-то, да так ровно бы все сосет, все сосет в левом боку. Дело было вечером, только что торговлю покончили, да, господи благослови, ужинать сели. Вот и говорю я своему старику: «Что это, говорю, Андрей Митрич, у меня ровно предчувствие какое, все это как-то не по себе?» А еще Андрей-то Митрич, помню, с сердцем говорит: «Поди, чай, говорит, обожралась чего сдуру». Так мы этим разговор и покончили; потому, вижу я, сидит он сердитый такой. Поужинали. Легли спать. И все это мне не спится, все это мутит, все мутит внутри. Ворочалась, ворочалась с боку на бок, наконец дрема начала меня брать. Только что закрыла я глаза, может каких минут пять забылась, вдруг слышу, поднялся

на дворе крик, ломятся к нам в двери. Вскочили мы, глядь – горим! Батюшки светы! в чем были, в том и повыскакали на улицу, детей-то едва повиытаскали. Бросились было добрые люди в лавочку, нельзя ли мол, спасти чего, – куда тебе: всю ее так и охватило сразу. А тут старика не отыщем – тот куда-то пропал. Бегали, бегали, выли, выли, наконец нашли на другом конце улицы, сидит он с какой-то банкой в руках и все вопит: «Шкатунка, говорит, пропала!» Так мы в те поры, отец мой, сразу потеряли все: имущество погорело, товар погорел, да и шкатунка не то пропала, не то погорела, а в ней, мотри, тысячи четыре денег было. И остались мы, нежданно-негаданно, нищими как есть. Взяться нам нечем, в люди идти жить нельзя, потому детишек в ту пору трое было мал мала меньше, работы никакой нет, – хоть ложись да умирай! Бились, бились, наконец, батюшка, моченьки нашей не стало! Старик, вижу, стал хмелем заниматься, вижу, знакомство водит с такими людьми, об которых прежде-то и думать бы не стал; я – грешное дело – милостыню пошла просить. А разве это легко, батюшка ты мой! Каково было руку-то мне протягивать, когда прежде сама давала вволю? Дети этта бегают без призору (тут уже двое стало; одна девочка в помойной яме утонула), скверным делом пробавляются: там, слышишь, унесли, в другом месте унесли. И была-то я их поначалу и то и другое делала – ничего не помогает, потому ребенок голодный, холодный ходит, ну и...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.